

Леонид Кацис

**МАЯКОВСКИЙ-КОМАРОВСКИЙ, ПАНСЛАВИЗМ И  
ЕВРАЗИЙСТВО В ДОКТОРЕ ЖИВАГО  
БОРИСА ПАСТЕРНАКА**

Проблема происхождения имени одного из героев *Доктора Живаго* Б. Пастернака – Комаровского в его связи с Маяковским (как через „рифмующиеся фамилии“, так и через ряд специфических маркеров Маяковского) была поставлена И. Смирновым в книге *Роман тайн „Доктора Живаго“* (Смирнов 1996, 39-44). Там же указывается на то, что собственно имя героя „Виктор“ совпадает с именем Хлебникова.

Анализ И. Смирнова касается лишь первого тома романа, относительно же второго автор пишет: „Бегство Комаровского во Владивосток, хотя и не имеет ничего общего с фактами жизни Маяковского, тем не менее корреспондирует с биографиями его ближайших соратников, Асеева и Давида Бурлюка“ (Смирнов 1996, 41).

Сами по себе проницательные выводы и догадки И. Смирнова могут быть подтверждены, если не доказаны, как при введении дополнительных сведений в анализ сцен с Комаровским из первого тома Пастернака, так и при учете сцен с этим героем во втором томе, сцены в котором действительно связаны не столько лично с Маяковским, сколько с его ближайшим окружением времен ЛЕФа и Нового ЛЕФа.

Прежде всего обратимся к тем сведениям, которые приводятся в работе И. Смирнова и касаются не столько Маяковского, сколько Велимира (Виктора) Хлебникова.

Ключевым здесь окажется название гостиницы „Черногория“. Это слово обладает очевидной важностью для Хлебникова, однако, парадоксальным образом, может объяснить истоки образов из *Охранной грамоты*, которые приводит исследователь в качестве доказательства близости Маяковского и Комаровского. Это прогулка по Кузнецкому мосту: „Он [...] прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии [...] клочки своего и чужого...“ (Пастернак 1990, 216-217).

Заметим, что „черногорский“ текст В. Хлебникова из воззвания к студентам Маяковский процитировал из сборника *Ряв!* 1914 года (Маяковский 1955, 449): „Сейчас две мысли: Россия – Война, это лучшее из всего, что

мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад“ (Маяковский 1955, 318).

Маяковский имеет в виду, что текст, включенный им в свою статью 1914 года и перепечатанный из сборника 1918 года был вывешен Велимиром Хлебниковым в петроградском (так! – Л.К.) университете в 1908 году.

Вот начало этого текста: „Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями – города с немецким населением и русским славянским именем... Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести – переведем же их с Дона и Днепра, с Волги и Вислы. В этой силе, когда Черная Гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей по воле богов [...] в близком будущем воскреснут перед изумленными взорами [...] Или мы не поймем происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? [...] Священная и необходимая, грядущая и близкая война за погранные права славян, приветствую тебя! Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!“ (Маяковский 1955, 318-319; Хлебников 1913, 3).

Важно отметить, что как раз вокруг эпизода с Черногорией появляются патрули, стрельба и даже слово „война“, которой заняты „хорошие, честные мальчики“ (Пастернак 1990, 3, 53).

Процитированный отрывок из „черногорской“ статьи-манифеста В. Хлебникова столь важен, что нам придется задержаться на нем специально. Этот текст неоднократно привлекал внимание специалистов и комментировался. Так, Н. Харджиев совершенно верно указал, что образ Славии (Словии) „восходит к [...] поэме Яна Коллара „Дочь Славы““ (Харджиев 1975, 10). А. Парнис счел это указание неубедительным лишь на основании того, что Н.И. Харджиев счел опечаткой „Словия“, которую он, ссылаясь на Я. Коллара, заменил на „Славию“. Не вдаваясь сейчас в текстологические споры, заметим, что А. Парнис, воспользовавшийся лишь словарями чешского и словацкого языков, не счел нужным обратиться собственно к поэме Коллара. Из этой поэмы он бы узнал, что практически весь текст Хлебникова обыгрывает образы „Дочери Славы“. Так, Коллару, идущему по земле, которая принадлежит немцам, все время слышится славянская речь в шелесте трав. Именно борьба между германством и славянством является главным стержнем его идеологии. Не будем забывать, что и пангерманизм и панславизм являлись продуктами национальных проблем австро-венгерской монархии. Поэтому и упоминание „Габсбургов“ и „узды Гогенцоллернов“ у Хлебникова совершенно неслучайны и связаны все с той же поэмой (ср. Парнис 1978, 227).

Надо отметить, что еще одно место у Хлебникова явно связано с поэмой Я. Коллара: „Помимо завываний многих горл, мы говорим: И там и здесь одно море“ (Хлебников, 187). По этому поводу А. Парнис пишет:

„хлебниковская метафора ‚одно море‘ явно восходит к известному пушкинскому ‚Славянские ручьи сольются ль в русском море?‘, а также к традиционному образу славянского (или русского) моря у прото-славянофилов“ (Парнис 1978, 239). Тот же автор связывает этот образ и со стихотворением А. Одоевского „Славянские девы“. В литературе уже были указания на то, что стихи А. Одоевского генетически не связаны с пушкинскими (Зайцева 1963); в свою очередь нам приходилось отмечать, что и образ пушкинских стихов „Клеветникам России“ напрямую восходит к изложению поэмы Я. Коллара (Кацис / Одесский 1999). Эта же поэма сыграла громадную роль в становлении русской поэзии о славянах в первой половине XX века, в частности, она отразилась в *Реквиеме* Анны Ахматовой (Кацис / Одесский 1996, 214-222). Поэтому серьезное обсуждение темы славянства и панславизма в русской поэзии XIX-XX века, связанной с именем и идеями Я. Коллара, возможно лишь при обязательном учете непосредственного содержания поэмы чешско-словацкого поэта или дальнейших трансформаций его образов.

Мы столь подробно остановились на этой проблеме, т.к. нам еще придется коснуться ее в дальнейшем изложении. Тем более, что проблеме „Славянство и Первая мировая война в идеологии русских поэтов“ уделялось явно недостаточное внимание. Это впрочем, объяснимо и политическими, и идеологическими причинами, и трагической историей XX века. Однако это относится скорее к исследователям и литераторам второй половины века, а не к тем, кто как Пастернак, пережил это событие в реальности.

Следующее замечание И. Смирнова не может не привлечь к себе нашего внимания: „Обращает на себя внимание, однако, то обстоятельство, что Фаустов пудель превращен у Пастернака в бульдога и что Сатаниды, всегдашний спутник Комаровского, недвусмысленный аналог Мефистофеля, назван по имени – Константином [...] Названные метаморфозы мотивов Гете станут прозрачными, если учесть, что в конце 20-х гг. Маяковский и Брики завели себе французского бульдога по кличке ‚Булька‘ и что ближайшим, с точки зрения Пастернака, другом Маяковского был поэт-футурист Константин Большаков [...] Отчество Большакова – Аристархович – передано в романе увлекающемуся футуризмом Максиму Аристарховичу Клинцову-Погоревших“ (Смирнов 1996, 39).

Следует отметить, что в статье „Без белых флагов“ уже сам Маяковский ставит рядом Большакова с Хлебниковым: „Возьмите боевые кличи нашего Хлебникова, разве это не славословие мощи, гордости и побед.“

Вот:

От Грюнвальда я: истуканы,  
 С белым пером на темени,  
 В рубахах белых великаны  
 Бились с рожденным на Немане.  
 От Коссова я: дружины свой бег  
 Правят победно на трупах.  
 Я и колол, и резал, и сек  
 Павших от ужаса, глупых!

Тот же К. Большаков в стихе „Дифирамб войне“ прославляет гром пушек:

За то, что вместо душ болиды  
 Вложил в бестрепетную грудь,  
 Росам твоей святой корриды  
 В глазах вовеки не уснуть  
 (Маяковский 1955, 322-323).

Если учесть, что в качестве основного противника Маяковский часто выбирает Бальмонта (кстати, тоже Константина!), который, не стесняясь в выражениях, называл немцев „сатанинскими собаками“ (Heilman 1995, 132f.), что вполне соответствует собаке Мефистофеля.

Наше предположение не кажется невозможным, ибо перед самым фланированием Виктора Ипполитовича Комаровского и Константина Илларионовича Сатаниди по Кузнецкому с вышеупомянутым бульдогом (в главе 11 книги) в главе 10 в беседе Выволочного и Николая Николаевича читаем:

Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро [...] завязался разговор, натянутый и неприятный.  
 – Декаденствуете? Вдалились в мистику? – спросил Выволочнов и после нескольких реплик услышал от собеседника: „А теперь эти фавны и неньюфары, эфебы и ‚будем как солнце!‘. Хоть убейте, не поверю...“

А через несколько абзацев в записях Николая Николаевича читаем:

Я вдруг все понял. Я понял, что всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. (Пастернак 1990, 3, 44-45)

Похоже, что переход от этого эпизода к прогулке по Кузнецкому, Маяковскому, „Черногории“ и войне выглядит последовательно и логично. Сама же по себе структура „романа тайн“, описанная И. Смирновым, срывается и на этот раз.

Обратимся теперь к эпизодам с В. Комаровским, которые находятся во второй книге романа Пастернака. И они во многом оказываются связанны-

ми с проблемами славянства. Хотя, в отличие от эпизодов первой книги, связи эти менее очевидны и значительно менее изучены. По-видимому, именно это обстоятельство привело к тому, что целый ряд достаточно ясных признаков и маркеров, как образа самого Маяковского, так и ЛЕФа вообще не были соотнесены с эпизодами *Доктора Живаго*, связанными с именем Виктора Комаровского. Чтобы продемонстрировать это, мы будем двигаться последовательно по ходу действия романа, комментируя интересующие нас моменты. Прежде всего, обратим внимание на то, что предшествует главе „Опять в Варыкине“, в которой появится Комаровский. В главе 17 предыдущей 13 части Юрий Живаго читает письмо от Антонины Александровны, из которого мы узнаем, что

Несколько видных общественных деятелей, профессоров из кадетской партии и правых социалистов, Мельгунова, Кизеветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая Александровича Громеко, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу. (Пастернак 1990, 3, 410)

Следовательно, перед нами примерно 1922 год – год высылки т.н. „философского парохода“ с деятелями русского либерализма, религиозной философии и т.д.

Примерно к этому же периоду относятся и слова приехавшего к Ларе Комаровского:

В Приморье, на Тихом океане, происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому Временному правительству и распущенному Учредительному собранию. Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из бывших земцев, дельцы, промышленники. Добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий.

Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики. Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам, с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам [...]

Меня там знают. Негласный эмиссар составляющегося правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром в Дальневосточное правительство и еду туда. (Пастернак 1990, 3, 415-415)

Возникает естественный вопрос: какое отношение организация правительства ДВР имеет к отношениям Пастернака и Маяковского? Тем более в 1922 году (если верна наша хронология).

Ответ находится в творчестве самого Пастернака, причем в стихах, прямо обращенных к Маяковскому. Мы имеем в виду стихотворение „Маяковскому“, традиционно датируемое как раз 1922 годом и представленное как надпись на книге *Сестра моя жизнь*. Как мы пытались показать в другом месте (Кацис 1999) содержание этой „надписи“ никак не может относиться к 1922 году. Создана она явно позже. И ключом к пониманию этого оказываются строки:

Вы заняты нашим балансом,  
Трагедией ВСНХ...

В связи с тем, что никаких проблем ВСНХ, тем более „трагедий“, Маяковский не отразил в своем творчестве ни тогда, ни позже, мы предположили, что речь здесь идет об А.М. Краснощекове, у которого в 1922 году начался роман с Л. Брик. А.М. Краснощеклов был арестован в сентябре 1923 года. Его биографию есть смысл сопоставить с тем, что говорит о себе Комаровский. Итак:

...был [...] Председателем Дальсовнаркома за весь период его существования с декабря 1917 года по сентябрь 1918 года, будучи переизбранным тремя съездами (III, IV, V) [...] После передачи через чешский фронт в Штаб 5-й армии был назначен Сиббюро и ЦК ВКП (б) членом Дальбюро ЦК ВКП (б) 3-го марта 1920 года, оставаясь членом бюро при всех составах до своего отъезда из ДВ в июле 1921 года.

Весь этот период я занимал пост Председателя правительства ДВР и Министра Иностранных дел. [...] По советской линии я за период возвращения с ДВ (декабрь 1921 г.) занимал следующие посты: Зам. Наркомфина, Член президиума ВСНХ и Председатель Помбанка. Был арестован 19 сентября 1923 г., освобожден в ноябре 1924 года... (Янгфельд 1991, 219)

Недаром свое назначение в Правительство ДВР Комаровский мотивировал тем, что вел дела „братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банкирских домов во Владивостоке“ (Пастернак 1990, 3, 416).

Однако куда интересней то, что говорит Комаровский „о политическом значении Монголии“.

Вот этот текст:

Еще более (чем Сибири – Л.К.) чревато манящими возможностями будущее Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. [...] страна в состоянии доисторической девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки в ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками при разделе сфер влия-

ния в этом далеком уголке земного шара.

Китай извлекает пользу из федерально-теократической отсталости Монголии, влияя на ее лам и хутухт. Япония опирается на тамошних князей-крепостников, по-монгольски – хошунов. Красная коммунистическая Россия находит союзников в лице хамджила, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующею, под управлением свободно выбранного хурултая. Лично нас должно занимать следующее. Шаг через монгольскую границу, и мир у ваших ног, и вы – вольная птица.

Многословные умствования на назойливую, никакого к ним отношения не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну. (Пастернак 1990, 3, 417-418)

Если к Ларисе Федоровне эти разговоры действительно имели мало отношения, то к О.М. Брику они имели отношения прямое.

И здесь, как и в случае с черногорскими интересами В. Хлебникова, отразившимися в Первой книге романа, нам придется сделать специальное отступление, чтобы пояснить природу этого интереса к Монголии в кругах ЛЕФа. Это поможет нам понять, почему близкая к евразийству терминология проникла в рассуждения Комаровского.

Однако прежде чем проделать это, проследим еще за некоторыми эпизодами романа, которые могут навести нас на след Маяковского. Незадолго до последнего появления Комаровского Юрий Живаго начинает писать некие наброски, среди которых находится и такой:

Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их заполнить. Предметы, едва названные на словах, стали шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. (Пастернак 1990, 3, 435)

Здесь явно имеется в виду баллада Б. Пастернака „Бывает курьером на борзом“, названная однажды „Балладой Шопена“. Это сложное сочинение поэта оказывается связанным и в варианте 1916 года, и в варианте 1928 года с Маяковским, причем, во втором случае Пастернак пытается предостеречь Маяковского от самоубийства (Кацис 1995а, 19-39, ср. Иванов 1998, 96-99).

Связь этой „Баллады“ с Маяковским и евразийством уловил далеко не безразличный для Пастернака Илья Сельвинский – автор романа *Пушторг*.

В этом романе в стихах И. Сельвинский постоянно путает Пастернака и Маяковского, объединяя их в одном герое, в частности, в образе Пашки (Павла Саввича, который другой своей гранью связан и с И. Эренбургом)

или в репликах некоего Гурова. И этот же герой – Пашка – рассуждает о следующей проблеме:

Но Пашка о Нинке забыл до поры.  
Он видит: в рубрике полчищ вражьих –  
Сидит себе столбиком у норы  
В рыжих веснушках суслик-евражек.  
Евражка сидит, издает свисток  
И лапками крестится на восток.  
Даже во сне не думает рыжий,  
Что скоро ему фигурировать в Париже.

Здесь явно отразилась полемика вокруг родченковского „Парижа“. Ведь письма художника были опубликованы в первом номере *Нового Лефа* и вызвали резкую отповедь хотя бы Вяч. Полонского и А. Лежнева. Немалое место на знаменитом диспуте „Леф или Блеф?“ заняла проблема Пастернак-Маяковский. Как известно, Полонский и Лежнев выделяли Пастернака из Лефа с серьезной настойчивостью. Однако Илья Сельвинский в мае 1927 года (а глава *Пушторга* датирована именно так) к этому готов не был. Поэтому название очерка Маяковского *Поверх Варшавы* (ср. Кацис 1995в, 29-42) он вполне адекватно отнес к Пастернаку. И тут же дал это понять читателю. После слов о Париже, имевших прямое отношение к Родченко, читаем:

Но вдруг в коридоре раздался звонок:  
Одиннадцать долгих и два коротких!  
Бежала со всех бабо-яжьих ног  
Одна старушенция в папильотках  
И завизжала „К вам это, к вам!“

...

Но кто-то входил уже в Пашкин вигвам.

войдя:

Гуров себя почувствовал графом.

Эта фраза еще будет повторяться, к тому же Гуров будет говорить с явным польским акцентом, свойственным этому же герою с самого начала. Забавное сочетание Польши с Маяковским, *Поверх Варшавы*, Полонского с его „Леф или Блеф?“ и пастернаковским *Поверх барьеров* достаточно очевидны и нами не комментируются.

Итак, „Баллада“, на которую намекает Сельвинский, содержала строку „...мне надо видеть графа...“, и несколько видоизменяла ситуацию. Ведь герой „Баллады“ еще только рвался к „графу“, а Гуров *Пушторга* уже входил в „Пашкин вигвам“. Нас, понятно, интересует лишь первая реакция

„Баллады“, так как роман Сельвинского писался, судя по датам, в 1927 году, т.е. за год до появления второй редакции „Баллады“.

Вот что можно было прочесть в первом варианте:

...До самых дверей.  
 мне надо  
 Видеть графа!  
 ...Довольно,  
 мне надо  
 Видеть  
 Графа.  
 ...  
 Сбегаёт краска с лица консьержа,  
 В слова посетителя вкрался пароль,  
 Лицо наклоняется. Гость еще сдержан,  
 Но очи очам прохрипели: „Открой“.

И вот после строк о Гурове, который „себя чувствовал графом“, идут крайне оскорбительные для Маяковского строки, связанные через фамилию героя с чеховской „Дамой с собачкой“:

Гуров себя чувствовал графом  
 И стал озираться по олеографиям.  
 Особенно та, что подле окна,  
 Его омерзением привлекла:  
 Бриг в парусах с отечной осадью,  
 С маленьким тузиком где-то сзади,  
 На райский берег плавно плывет  
 Зеленой луною полночных вод.

Создается впечатление, что во втором варианте „Баллады“, опубликованном в журнале Вяч. Полонского *Новый мир* в № 1 за 1929 год, не случайно появились строки о граверах, отсутствующие в первом варианте 1916 года, вместе с открытым упоминанием баллад Шопена.

Здесь стоит специально остановиться на принципиальной разнице первой и второй редакций „Баллады“ „Бывает курьером на борзом“. Это заставляет сделать сама ситуация, в которой оказываются сопоставлены два композитора в *Докторе Живаго*.

В первой книге Николай Николаевич записывает:

Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая, и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это так всегда убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. (Пастернак 1990, 3, 45)

Нет сомнений, что речь здесь идет не о композиторе Б. и поэте символисте А., а об Александре Скрябине с его текстом к т.н. „Предварительному действию“, опубликованному в „Русских пропилеях“ уже после смерти композитора, так и не создавшего своей Мистерии.

В свою очередь, похоже, что к рассуждению о Шопене в романе Пастернака вели мысли о другом символисте – Андрее Белом с его московскими Симфониями, которые через герб Москвы с Георгием Победоносцем (а не только через имя героя романа Юрий) мотивируют георгиевский сюжет.

Интересно, что современникам Пастернака и Маяковского было очевидно происхождение музыкального подтекста „Баллады“. Так, „худреватый Митрейка“ Константин Митрейкин в стихотворении „Ночные рыцари“, связанном как с ранним Маяковским, так и с Пастернаком, писал, пародируя „Бывает курьером на борзом“: „Спит Композитор, дряблый от лаСК.“, задавая Анаграмму имени СКРЯБИН в стихотворении, содержащем строки:

Где вы, герольды?  
Герольдов нет...

восходившие к:

Поэт или просто глашатай,  
Герольд или просто поэт...

из „Баллады“, наряду со строками:

Гремя и шурша,  
Ер и Ша  
проплывают перед  
буквенным строем...

цитировавшим „Приказ по армии искусства“ Маяковского. Это позволяет предположить, что конкретизация названия „Баллады“, как „Баллады Шопена“ была призвана (еще до второй редакции) снять скрябинский след, слишком очевидный, но уже не настолько актуальный для Пастернака.

Таким образом, противопоставление „Шопен-Скрябин“ существовало у Пастернака задолго до романа, но в связи с Маяковским. Тогда нас уже не удивит (с учетом, разумеется, и бульдога Комаровского, и тузика Гурова), что после слов о балладе Шопена, отразившейся в стихах доктора Живаго,

что Лара вдруг говорит Юрию: „– Слышишь? Собака воет. Даже две. Ах, как страшно, какая дурная примета!“ (Пастернак 1990, 3, 435).

Если теперь вспомнить, что, анализируя эпизод с Комаровским из Первой книги романа, И. Смирнов упоминал К. Большакова, то есть смысл внимательнее всмотреться в первую редакцию „Баллады“:

Конь оглушал заушиной  
Оскретки большака...

в сочетании со строкой „топчут пчел сапоги“, то мы неожиданно увидим, вспомнив маркеры Маяковского типа „лошадь“, „архангел тяжелоступ“ и т.п., что и „большак“ связан с Большаковым, да и пчелы с Шершеневичем. О шифровке последнего таким образом писал Л. Флейшман (Флейшман 1979).

Разумеется, подобный разбор первой редакции „Баллады“ представляет собой отдельную задачу, но противопоставление Скрябин-Шопен для оценки отношений Пастернак-Маяковский в 1916 и 1928 гг. представляется достаточным. Тем более, что в подобную связку все названные обстоятельства объединил И. Сельвинский как раз перед написанием второй редакции „Баллады“. Тому же автору принадлежит и объединение всего этого с проблемой евразийства *Нового Лефа*.

Если наше заключение о происхождении конструкции образа Комаровского во второй книге *Доктор Живаго* верно, то стоит вспомнить еще один отрывок, связанный с этим героем:

Хозяевам хотелось спать, и надо было поговорить наедине. А Комаровский все не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном. (Пастернак 1990, 3, 417)

Именно этот образ мог придти к Пастернаку из стихов Ильи Сельвинского „На смерть Маяковского“:

И стало в поэзии жутко просторно,  
Точно вывезли широченный шкаф.

Напомним, что именно за процитированными словами Пастернака и начнутся рассуждения Комаровского о Монголии и Дальнем Востоке.

Итак, если „польские“ отголоски Гурова и *Пушторга* наряду с „Леф или Блеф?“ относятся к 1927 году, то сугубо монгольский ответ на выпады противников *Нового Лефа* находится в сочинении, которое до сих пор не привлекало к себе пристального внимания. Это сценарий О.М. Брига к знаменитому фильму „Потомок Чингис-хана“ (1928).

Этот текст посвящен, понятно, революции в Монголии. Когда возмущенный обманом англичан монгольский охотник оказывается в партизанском отряде, командир которого перед смертью завещал своим бойцам „Слушать Москву!“ Но для нас сейчас важно не это. Для нашей темы важна часть 5 сценария, в которой английский офицер произносит в ответ на некое предложение:

– ЧИСТЕЙШИЙ БЛЭФФ, –

а один из эпизодов действия протекает в заведении для офицеров „Бывшее Общественное собрание, превращенное в подобие американского бара“.

Достаточно перевести это название на английский „Late social Club“ (LSC), как мы увидим пародийную аббревиатуру „ЛЩК“ – литературный центр конструктивистов. Не забудем и то, что в *Пушторге* О. Брик был поименован „Лев Семеныч Кроль“ (ЛСК) (Кацис 1993).

Следующие эпизоды сценария связаны с тем, что боец (он бывший охотник, обладавший грамотой Чингис-хана на владение Монголии) отказывается сотрудничать с англичанами. „Он говорит о свободной Монголии“, после чего вновь следует знакомая реплика английского офицера:

– С ЭТИМ БЛЭФФОМ ПОРА ПОКОНЧИТЬ, –

после чего и происходит заранее предсказуемое событие:

- Сулим кричит почти в пустой комнате
- Подошли два офицера
- Хватают его за плечи
- Хотят его увести
- Сулим вырывается, продолжает говорить
- Выскочило еще несколько военных
- Бросаются к Сулиму
- Сулим оглянулся, видит себя окруженным врагами
- Скакнул
- Выскочил за дверь
- Заметался по комнатам
- Через диваны
- Срывая шали
- Опрокидывая безделушки
- Мимо испуганных дам
- На подоконник
- В окно
- Выскочил Сулим
- Вскочил на коня
- Поскакал в город
- ...
- И поскакал из города вон
- Скачет Сулим по полю

- Мимо монгольских юрт
- Мимо партизанских огней
- Скачет через реки
- Через горы
- И навстречу ему плывет миражом
- Город в тумане
- Все быстрее скачет Сулим
- Все ближе плывет к нему город
- И уже видно, что это Москва
- Кремль

КОНЕЦ  
(Брик 1928).

Похоже еще один деятель *Нового Лефа*, связанный с борьбой вокруг проблемы „Леф или Блеф?“ оказался втянутым в воронку пастернаковского романа.

Похоже, можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что сцены с Виктором Комаровским в сущности параллельны, если не изоморфны друг другу. Отличает их лишь развитие заданных в самом начале века сюжетов за те годы, что прошли между футуристической юностью, лефовско-антилефовской зрелостью и написанием собственно романа. Роман же *Доктор Живаго* построен так, что и за пределами явно параллельных сцен он может вовлекать в себя все новые персонажи.

Так, отвлекшись от пары Комаровский – Маяковский (Хлебников), в заключительных главах романа мы можем встретить еще одного героя, который вполне укладывается в интересующую нас парадигму.

В *Докторе Живаго* читаем:

– А мне правда есть что порассказать. Будто не из простых я, сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой была скрывающегося министра русского в Беломонголии, товарища Комарова. Не отец, не родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка неученая, без папы, без мамы росла сиротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, ну только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение. (Пастернак 1990, 3, 504)

Судя по фамилии героя, превратившегося из Комаровского в Комарова, но не утратившего имени (хотя здесь и неназванного – Виктор), мы вправе увидеть сквозь стилизованную, если не лубочную, речь Тани, стиль и название сочинения еще одного лефовца – Виктора Шкловского, написавшего книгу о московском жителе Матвее Комарове (Шкловский 1929).

Разумеется, Виктор Шкловский бежал не из Бело-Монголии, но из Киева *Белой гвардии*. Поэтому и имя одного из героев сцен с Татьяной – Васи-

лий Афанасьевич, выдает Михаила Афанасьевича – автора *Белой гвардии*, которая закончилась, как мы помним, сном Петьки Щеглова, восходящего к статье Андрея Белого „Луг зеленый“. В романе же Пастернака гибнет ребенок Петенька.

Что же касается фамилии Комаров, то ее связь с Комаровским мотивируется, похоже, уже литературной историей, изложенной в книге Виктора Шкловского. На странице 9 этой книги находится страница, сфотографированная из *Опыта словаря русских писателей*, принадлежавшего Н.А. Полевому. На соответствующей странице имени Матвея Комарова нет, зато есть имя Иоанна Комаровского. В экземпляре работы 1772 года имя московского жителя Матвея Комарова вписано рукой владельца (Шкловский 1929, 9).

В своей работе Шкловский подробно восстанавливает биографию Матвея Комарова, сетуя на то, что „если человеку из Опояза приходится заниматься составлением биографии, то это объясняется только тем, что представители старого биографического метода этого сделать не умели и приходится работать за них“ (Шкловский 1929, 17). Тем интересней, как уже Пастернак строит биографию Комаровского-Комарова, разумеется, не имея отношения к „старому биографическому методу“. Причем строит он ее, используя малейшие детали книги Виктора Шкловского. Там, уже в самом конце работы маститого опоязовца в примечании к главе „Крестьянские сказки“ (что уже само по себе знаменательно в контексте *Доктора Живаго*) Шкловский пишет:

Картина сделана явно с той же доски. Это заставляет думать, что и „Крестьянские сказки“ написаны Евграфом Хомяковым, который подписался М.Ж.

Подпись „Московский житель“ и сам стиль предисловия в „Крестьянских сказках“ не освобождает Евграфа Хомякова от подозрений в некотором пользовании чужой (комаровской) славой. (Шкловский 1929, 293)

Понятно, что и имя Евграфа (в романе уже Евграф Живаго) и фамилия Хомякова (уже в связи со славянофильскими проблемами) заставляют думать о связи книги Виктора Шкловского с романом Пастернака. И даже более того: эта связь позволяет, похоже, мотивировать или понять мотивировку появления Евграфа Живаго в эпизоде с Татьяной и Евграфом. Кстати, быть может именно книга Шкловского и привела в роман героя с именем Евграф.

Наконец, место Виктора Шкловского в ряду прототипов героев романа Пастернака и в эпизодах, связанных с проблемой евразийства, объясняется, на наш взгляд, не тем, что у Матвея Комарова было сочинение „Старин-

ные письма Китайского Императора к Российскому Государю“, но евразийскими интересами самого Шкловского. На них уже обращали внимание исследователи. Так, Е. Толстая писала: „Размышления о пропасти между ‚народной‘ и ‚цивилизованной‘ Россией у Шкловского (в *Третьей фабрике* – Л.К.), только что вернувшегося из эмиграции, где его коллеги и единомышленники Н. Трубецкой и Р. Якобсон были в центре евразийского движения, несомненно имеют подтекстом евразийскую концепцию о неорганичности европейской цивилизации для России.

Это связано с Розановым (*Апокалипсис нашего времени*) и В. Ховиным (Е. Толстая-Сегал 1994, 78).

Не исключено, что очевидные у Шкловского апокалиптические коннотации могли актуализироваться для Пастернака и забавным соотношением имен Комарова и Комаровского в книге Виктора Шкловского Матвей и Иоанн.

В целом же можно сказать, что евразийская проблематика в главах, связанных с 1923-1929 гг., могла быть мотивирована и рядом реальных политических событий этого времени. Так, в недавно опубликованных документах о евразийском расколе 1929 года оказываются замешаны некоторые члены движения, явно сотрудничавшие с советской властью, если не с ОГПУ:

Раскол в евразийстве, произошедший в январе 1929 г., событие одновременно и хорошо известное и плохо документированное. Для постороннего наблюдателя все выглядело приблизительно так. 24 ноября 1928 г. в Париже начала выходить новая еженедельная газета, называвшаяся *Евразия*; содержание газеты поражало превышавшей всякие ожидания просоветскостью. В № 7 газеты (5 января 1929 г.) появилось письмо духовного вождя движения Н.С. Трубецкого, заявлявшего о выходе из редколлегии газеты и из евразийской организации и мотивировавшего свой поступок несогласием с линией газеты и нежеланием нести ответственность за дальнейшее развитие этой линии. (И. Шевеленко 1994, 376-377)

Чисто фактические сведения о связях части евразийцев с ГПУ, ТРЕ-СТОМ и т.п. могли бы не иметь никакого значения, если бы одним из центральных моментов раскола евразийцев не оказалось приветствие Марины Цветаевой Маяковскому. В „Меморандуме“ П.Н. Савицкого об этом говорится так:

Буквально за несколько часов до заключения номера было предъявлено к напечатанию приветствие поэтессы Марины Цветаевой известному поэту В. Маяковскому. Я имею основания думать, что, в этом случае со мной „хитрили“. „Приветствие“ было задумано давно, мне же о нем сказали в самую последнюю минуту. Обращение Мари-

ны Цветаевой – совсем небольшая вещь, но двусмысленная по своему содержанию. После некоторых колебаний я пришел к заключению, что в первом номере этого обращения печатать не стоит. (Шевеленко 1994, 395)

В другом документе П.Н. Савицкого в „Записке о П.П. Сувчинском“ читаем:

В первой половине ноября я узнал, косвенным путем, но совершенно достоверно, что Сувчинский и Мирский собираются укрепить свои отношения с известным поэтом и в то же время коммунистом и атеистом – В. Маяковским путем помещения обращения-приветствия Маяковскому в газ[ете] *Евразия*. Тогда это намерение было от меня укрыто. Но приблизительно через две недели, а именно 20 ноября, я получил „на одобрение“ приветствие Маяковскому Марины Цветаевой. [...] Против помещения этой вещи я возражал категорически. Мнение Трубецкого, по существу, несомненно, совпадало с моим. Сувчинский ощущал себя хозяином печатного станка. Ему предстояло выбирать между поэтом и коммунистом, атеистом Маяковским, и евразийскими связями. Он „поддержал“ отношения с Маяковским (и заслужил от последнего насмешливый титул „кающегося дворянина“). И пошел на разрыв с Трубецким и со мною. Выбор Сувчинского сделан. Нет никаких причин предлагать Сувчинскому изменить этот выбор [...] если кто-либо сделает предложение пригласить Сувчинского на евразийские собрания, я сделаю контрпредложение: пригласить на эти собрания представителя ГПУ. Эффект будет тот же. А положение будет яснее и проще. (Шевеленко 1994, 410)

Характерно, что сам Н.С. Трубецкой в письме Р. Якобсону 28. VII. 1921 писал: „может быть самое поразительное: Сувчинский – строго православный и вместе с тем – поклонник футуризма...“ Напрашивающаяся в нашем контексте тема „смены вех“ и лидера сменовеховцев Н. Устрялова здесь не рассматривается. После публикации в 1999 г. дневника советских лет Устрялова, полного цитат и подтекстов из стихов Б. Пастернака, анализ влияния сменовеховской идеологии на роман *Доктор Живаго* становится особой проблемой.

Таким образом, проблемы, поднятые или задетые в романе Пастернака особенно если помнить и об отношениях Пастернака с Цветаевой и Маяковским, и о том, что сотрудник ГПУ Сергей Эфрон был связан с левым крылом евразийцев, проблемы, поставленные или задетые Пастернаком в его романе, окажутся важными и серьезными. Далекими, по крайней мере для автора, от маргинальности и тривиальности.

## Л и т е р а т у р а

- Брик, О. 1928. „Потомок Чингис-хана (Литературный сценарий), Валюженич А. Осип Максимович Брик. Материалы к биографии“, *Акмолла*, 63-73.
- Зайцева. 1963. „Ян Коллар и русско-чешские литературные связи первой половины XIX в.“, *Литература славянских народов*, Москва.
- Иванов, Вяч. Вс. 1998. „Разыскания о поэтике Пастернака. От бури к бабочке“, *Избранные труды по семиотике и истории культуры*, т. 1, Москва, 15-140.
- Кацис, Л. 1993. „„Маякоша... Любимейший враг...“ Маяковский в поэтической полемике конца 20-х – начала 30-х годов“, *Литературное обозрение*, Москва, 84-99.
- Кацис, Л. 1995а. „Пастернак и Шопен (О второй редакции ‚Баллады‘ Б. Пастернака ‚Бывает курьером на борзom...‘)“, *Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка*, т. 54, 3, 19-38.
- Кацис, Л. 1995в. „Владимир Маяковский в Варшаве в 1927 году“, *Wladzimirz Majakowsky i jego czasy*, Warszawa, 29-42.
- Кацис, Л. 1999. „Маяковский. Пастернак. Эренбург и ‚прописи о нефти‘ (Из комментария к стихотворной надписи Б. Пастернака В. Маяковскому на книге ‚Сестра моя – жизнь‘)“, *Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник статей к 70-летию Вяч. Вс. Иванова*, Москва, 302-313.
- Кацис, Л., Одесский, М. 1996. „И если когда-нибудь в этой стране...“ О некоторых славянских параллелях к ‚Реквиему‘ А. Ахматовой“, *Литературное обозрение*, 5/6, 214-222.
- Кацис, Л., Одесский, М. 1999. „Пушкин – Коллар – Мицкевич. Из комментария к стихотворению А. Пушкина ‚Клеветникам России‘“, *Известия российской академии наук. Серия литературы и языка*, 3.
- Маяковский, В. 1995. *Полное собрание сочинений в 13 т.*, т. 1, Москва.
- Парнис, А. 1978. „Южнославянская тема Велимира Хлебникова. Новые материалы к творческой биографии поэта“, 1, *Зарубежные славяне и русская культура*, Ленинград, 223-251.
- Пастернак, Б. 1990. *Доктор Живаго, Собрание сочинений в 5 т.*, т. 3, Москва.

- Пастернак, Б. 1990. *Собрание сочинений в 5 т*, т. 4. Повести. Статьи. Очерки, Москва.
- Смирнов, И. 1996, „Роман тайн „Доктор Живаго““, *Новое литературное обозрение. Научное приложение*, вып. VIII, Москва.
- Толстая-Сегал, Е. 1994. „Идеологические контексты Платонова. Андрей Платонов“, *Мир творчества*, Москва.
- Харджиев, Н. 1975. „Новое о Велимире Хлебникове“, *Russian Literature*, 9.
- Хлебников, В. 1914. „Воззвание учащихся славян“, *Ряв!*, СПб.
- Флейшман, Л. „Фрагменты „футуристической биографии“ Пастернака“, *Slavica Hierosolymitana*, V. 4, Jerusalem.
- Шевеленко, И. 1994. „К истории евразийского раскола 1929“, *Stanford Slavic Studies, Vol. 8. Themes and Variations. In Honor of Lazar Fleishman* (Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана), Stanford.
- Шкловский, В. 1929. *Матвей Комаров. Житель города Москвы*, Москва.
- Янгфельдт, Б. 1991. *Любовь – это сердце всего. В.В. Маяковский и Л. Брик. Переписка 1915-1930*, Москва.
- Hellman, B. 1995. *Poets of Hope and Despair. The Russian Symbolists in War and Revolution (1914-1918)*, Helsinki.